
Борис Грань
Синдром
4:47

Борис Грань
Синдром 4:47

https://litres.ru/74732927
SelfPub; 2026

Аннотация

Каждую ночь в 4:47 Кирилл Морозов просыпается от одного и того же толчка. Пульс 52, кислород 99%, качество сна 92% — показатели идеальны. Кроме одного: его собственной жизни. Двадцать лет он оптимизировал себя — тело, брак, календарь, эмоции — и получил безупречный механизм, в котором не осталось человека. Жена стала частью интерьера. Сын записывает его в стрим. Дочь перестала говорить при нём. А падчерица Мила, вернувшаяся из Лондона без диплома и с презрением ко всему, что он построил, задаёт вопросы, от которых не спрятаться за EBITDA. Одно сообщение — «Ты тоже не спишь, симулякр?» — и всё рушится по правилам, которых он не писал.

Содержание

Пролог 4
Глава I. Семейный ужин 13
Глава II. Ночь. Кухня 33
Конец ознакомительного фрагмента. 51

Борис Грань
Синдром 4:47

Пролог

4:47

Он просыпается не от звука. В пентхаусе не бывает звуков — только гул. Ровный, низкий, почти неслышимый гул климат-контроля, который поддерживает двадцать два градуса, влажность сорок пять процентов и уровень CO_2 в пределах идеала. Кирилл просыпается от толчка внутри грудной клетки. Не сердце. Сердце как раз молчит. Толчок приходит из той области, где заканчивается тело и начинается пустота, — и в последние месяцы он стал еженощным ритуалом, как намаз или приём витаминов.

Ему не нужен будильник. Будильники — для людей, у которых есть причина просыпаться не в этот час.

Он лежит с открытыми глазами. Потолок над ним ровно тёмный; в спальне свет не зажигается сам — он запрограммирован на «не беспокоить» до шести тридцати. Шторы закрыты по расписанию. За ними — шестьдесят третий этаж,

семь метров стекла, Москва.

Он поднимает левую руку. Экран часов вспыхивает от движения, и в темноте возникает прямоугольник мягкого света — единственный источник, кроме тонкой полосы из-под двери в ванную.

Пульс покоя — 52 уд/мин.
SpO_2 — 99%.
Качество сна — 92%.
Глубокий сон — 2 ч 10 мин.
Вариабельность — 47 мс.

Цифры идеальны. Они всегда идеальны. Он вложил в эту идеальность время, деньги и дисциплину, о которой пишут в журналах про продуктивность: холодные ванны, дыхательные протоколы, отказ от алкоголя по будням, магний перед сном, отсутствие экранов за час до отхода. Тело отвечает взаимностью. Тело — единственный актив, которым он управляет безошибочно.

Он опускает руку, и свет гаснет.

Жизнь идеальна.

В груди — ледяная химическая пустота. Не тоска, не боль.

Именно пустота: как будто там, между грудиной и позвоночником, стоит прямоугольный сосуд из матового стекла, и в нём ничего нет, и он не наполняется, сколько ни лей. Иногда Кирилл думает, что если постучать по этой пустоте, она отзовётся глухим, дорогим звуком. Есть такие материалы — очень дорогие, очень глухие.

Он садится. Простыня падает. Кожа покрывается мурашками от двадцати двух градусов, и это приятно, потому что хоть что-то происходит.

Он встаёт босиком.

Камень под ступнями холодный. Он специально выбрал этот камень — травертин, привезённый из карьера, чьё имя звучит как название итальянской оперы. Камень клали вручную, с шампунями и притирками, три месяца. Кирилл тогда приезжал на объект каждый вечер и трогал плиты, проверяя шов: если шов чувствовался ногтём, его переделывали. Теперь он идёт по этому полу и не чувствует швов. Идеально. Гладко. Как будто пола нет вовсе.

Он идёт через гостиную. Семьдесят метров пустоты, в которой каждый предмет стоит на своём месте и знает, зачем он здесь. Диван, который никто не садится. Стол, за которым ели шесть раз за год. Библиотека, где книги подобраны ди-

зайнером по корешкам: тёмно-синий, охра, чёрный, — и Кирилл не открывал ни одной. Он один раз попробовал, ради эксперимента. Оказалось, это не книги, а муляжи — плотные картонные блоки в переплётах. Дизайнер сказал: «Так надёжнее, Кирилл Андреевич. Настоящие книги желтеют». Он согласился. Настоящие книги желтеют.

У панорамного окна он останавливается.

Москва внизу — муравейник из света и бетона. Огни идут полосами, как кровеносные сосуды под кожей; где-то там едут машины, чьи фары сливаются в бесконечную белую нить, кто-то ссорится на кухне, кто-то не спит с чужой женой, кто-то считает деньги до зарплаты, кто-то просто плачет, не зная почему. Восемь миллионов жизней, каждая из которых происходит прямо сейчас, одновременно, без его участия.

Кирилл прижимается лбом к стеклу. Стекло тёплое — с внутренней стороны подогрев, чтобы не конденсировалась влага. Тёплое, как живое. Он знает, что оно не живое. Он платил за то, чтобы оно не потелилось.

Он смотрит вниз и не чувствует себя властелином этого мира.

Он чувствует себя экспонатом в стерильной витрине. Вот

он, человек успеха, в естественной среде обитания: вид сверху, подсветка снизу, температура двадцать два, влажность сорок пять. Не трогать руками. Охраняется.

Тело просит движения или холода. Он выбирает телефон.

Не для почты. Почта в это время — только рассылки и Китай, а Китай у него закрыт до вторника.

Он открывает галерею и листает в самый низ — мимо скриншотов, мимо договоров, мимо фотографий с открытий, где он стоит в костюме и с ножницами, мимо всего этого глянца, вниз, в другой век, в папку, которую он не переименовывал с тех пор, как телефоны научились синхронизироваться с облаком.

Алтай. 2016.

Десять лет. Он не был там десять лет, но папка всё ещё здесь, аккуратно сжатая в облаке, — он платит за это облако ежемесячно, как за коммунальные услуги, и ни разу не открывал.

Первое фото.

Они с Алиной сидят на камне, у обоих ветровки с чужо-

го плеча, взятые напрокат в прокате на последние деньги, и Алина смеётся, запрокинув голову так, что видно, как ей хорошо и как ей всё равно. У неё на носу облупившийся нос. У него — щетина и грязь.

Второе фото.

Он один, на тропе. Штаны в грязи до колена, потому что он поскользнулся на переходе через ручей и сел в ил. На щеке — ссадина, ровная такая, длиной сантиметра три, и она тогда болела, и он трогал её языком изнутри, и было смешно, и Алина говорила: «Теперь ты похож на человека». Он на фото улыбается. Не для камеры. Просто улыбается, потому что ему хорошо и он не думает о том, как выглядит.

Третье фото.

Он увеличивает. Смотрит на лицо.

И не узнаёт его.

Не то чтобы оно изменилось до неузнаваемости — черты те же, нос, разрез глаз, линия подбородка. Но в этом лице есть что-то, чего в нём давно нет. Какая-то рыхлость. Небрежность. Отсутствие контроля. Этот человек не знает своего пульса в состоянии покоя. Он не знает, что такое ва-

риабельность. Он ест, когда голоден, спит, когда устал, и плачет, когда больно, — и всё это у него получается само, без приложения и без подписки.

Кирилл трогает свою щёку. Гладко. Сегодня утром был лазер, вчера — массаж лица, раз в месяц — бустер с гиалуроновой кислотой, раз в квартал — биоревитализация. Ссадины на щеке нет и уже не будет: кожа обновлена до состояния, при котором ссадины не держатся.

Он смотрит на молодого себя, и в горле становится тесно, и он не понимает, откуда это, потому что он давно уже не плачет — плакать нерационально, отёки, и потом весь день вид уставший.

Он хочет позвонить Алине. Сейчас, в четыре пятьдесят. Разбудить её, сказать: слушай, помнишь Алтай, помнишь, как ты сказала, что я похож на человека, — так вот, я больше не похож, я вообще теперь не знаю, что я такое, — и чтобы она ответила что-нибудь злое или доброе, как раньше, когда у неё ещё был доступ к нему без предварительной записи.

Он не звонит. Она спит. У неё теперь другой режим, другой город, другой мужчина и другой, гораздо более спокойный пульс.

И тут телефон вибрирует в руке.

Он вздрагивает — по-настоящему, физически, мышцы живота сжимаются, — потому что в этой комнате, в этой жизни, вибрация в четыре пятьдесят утра означает только одно: что-то случилось. Авария. Катастрофа.

Он смотрит на экран.

Уведомление. Личное сообщение. Отправитель — *Мила*.

Он знает её две недели. Или три. Она появилась на приёме, где он не хотел быть, — на той закрытой презентации, где умные люди рассказывали инвесторам про будущее, а Кирилл стоял у стены и считал минуты до выхода. Она подошла первой. Сказала что-то про его часы — не про стоимость, а про то, что они, наверное, знают о нём больше, чем его жена. Он тогда засмеялся не потому, что было смешно, а потому что было точно.

С тех пор — переписка. Ночная, странная, не про встречи и не про постель. Про искусство, которое никто больше не делает. Про симуляцию. Про то, что он, оказывается, умеет формулировать вслух то, о чём молчит с самим собой.

Он открывает сообщение.

> *Мила*: Ты тоже не спишь, симулякр?

Три слова и знак вопроса.

Кирилл читает их ещё раз. Потом ещё раз. И в ледяной пустоте между грудиной и позвоночником что-то впервые за долгое время щёлкает — тихо, как переключатель в щитке.

Он поднимает голову. В окне напротив — его собственное отражение: мужчина в трусах, с телефоном в руке, с идеальным пульсом и идеальным кислородом, на фоне города, который не заметит, если он исчезнет.

Reflection не улыбается. Reflection ждёт ответа.

Кирилл начинает печатать.

Глава I. Семейный ужин

Стол был накрыт на четыре персоны, хотя за ним сидели трое.

Людмила поставила тарелки с педантичной симметрией — так, как когда-то учила её мать, а ту — её мать, — и теперь стояла у плиты, спиной к комнате, делая вид, что всё ещё занята. Запечённая рыба под лимонным соусом, салат из рукколы, бокалы, наполненные до тонкой линии. Единственное свечение в комнате шло от подвесного светильника над столом — узкий, ровный конус света, внутри которого всё казалось выставленным в витрине.

Глеб пришёл последним.

Он вошёл в кухню, не снимая наушников, и это само по себе было заявлением. Большие чёрные «лопухи» на голове, провод, спускающийся к карману худи. Он сел на своё место — третье, у стены, — так, как садятся в вагоне метро, когда все места заняты: с сознанием короткой неизбежности.

Кирилл оторвался от телефона.

— Глеб.

Никакой реакции. Только едва заметный кивок в такт чему-то, звучащему у него в ушах.

— Глеб.

Сын поднял одну дужку наушников на палец, придержал.

— Да.

— Мы садимся ужинать. — Кирилл положил телефон экраном вниз, что означало высшую степень внимания, на которую он был способен за столом. — Семейный ужин. Помнишь такое понятие?

— Помню. — Глеб опустил дужку обратно.

Людмила, не оборачиваясь:

— Глеб, убери, пожалуйста.

Он снял наушники. Медленно, без раздражения, как снимают часы перед душем. Провод лёг на стол змейкой.

И Кирилл наконец увидел его лицо целиком — то, чего он избегал последние месяцы, возможно, потому что видеть

это лицо было больно, а больно ему было в последнее время всё чаще.

Сыну было двадцать. Круги под глазами — глубокие, фиолетово-серые, как синяки, поставленные аккуратно, дважды. Кожа с тем серым налётом, который даёт не бессонная ночь, а бессонный год. Взгляд — сухой, отстранённый, без той юношеской распахнутости, что ещё год назад позволяла Кириллу думать: мальчик, ничего, перерастёт.

— Ты когда последний раз спал? — спросил Кирилл.

— Спал.

— Я не спрашиваю «спал ли ты». Я спрашиваю «когда».

Глеб взял вилку. Отрезал кусочек рыбы — точно, аккуратно, будто отмеряя. Прожевал, проглотил. Кириллу на секунду показалось, что сын делает это не потому, что голоден, а потому что кто-то в его голове поставил галочку.

— Сегодня три часа сорок, — сказал Глеб. — И вчера три часа пятьдесят. И позавчера.

— Это не сон. Это подзарядка.

— Это твоя классификация.

Людмила поставила перед ним стакан воды. Не спрашивая. Просто поставила — давний жест, отточенный до автоматизма: если сын что-то говорит, поставь перед ним воду, потому что если он что-то говорит, значит, он, скорее всего, уже давно ничего не пил.

Глеб посмотрел на стакан. Потом на мать. Потом выпил половину. Кирилл наблюдал за этим обменом и чувствовал себя третьим лишним в комнате на четверых.

— Ты опять ночами сидишь в этом своём… — Кирилл не закончил, потому что не знал слова. — В этих наушниках.

— В «этих наушниках», — ровно повторил Глеб, — я слушаю подкаст про «Анти-Дюринг».

— Про что?

— Энгельс. Девятнадцатый век. — Глеб положил вилку. — Философия, пап. Я слушаю философию. Я знаю, что это слово тебя пугает, но всё же.

— Меня не пугает слово. Меня пугает, — Кирилл поднял палец, — что двадцатилетний парень вместо того, чтобы

строить жизнь, ночами слушает подкаст про книгу, написанную сто пятьдесят лет назад.

— Сто сорок восемь.

— Что?

— «Анти-Дюринг» вышел в тысяча восемьсот семьдесят восьмом. Сто сорок восемь лет.

За столом стало тихо. Людмила присела наконец на свой стул, но не расслабилась — сидела так, как сидят на приёме у врача, с сумкой на коленях, готовая в любой момент встать.

Кирилл сделал вдох длиной в четыре секунды. Он научился этому на тренинге по переговорам, дорогом, трёхдневном, с кофе-брейками и сертификатом в рамке. Вдох на четыре, задержка на четыре, выдох на шесть. «Управляй состоянием, управляй коммуникацией».

— Глеб, — сказал он мягче. — Я хочу с тобой поговорить. По-настоящему.

— Говори.

— Не так. — Кирилл отложил вилку и выпрямился. — Я

хочу спросить тебя как мужчина мужчину. Что дальше?

— В смысле?

— В смысле жизни, Глеб. В смысле планов. Тебе двадцать лет. У тебя нет работы, нет специальности, нет…

Он запнулся, потому что следующее слово было бы обидным, а обижать не входило в его план.

— Нет направления, — нашёл он наконец. — Понимаешь? Направления.

Глеб жевал. Спокойно, методично, будто слушал не отца, а тот самый подкаст.

— У меня есть направление, — сказал он.

— Какое?

— Выйти из-за стола.

— Глеб.

— Что, Глеб? — В голосе сына впервые появилось что-то живое — и это живое было холодным. — Ты начал разговор.

Ты хочешь, чтобы я его поддержал. Я поддерживаю. Я говорю тебе, что у меня есть планы. Ты не спрашиваешь, какие. Ты спрашиваешь почему они не твои.

Кирилл почувствовал, как краснеет — не от стыда, от чего-то хуже. От того, что его поймали.

— Я не это имел в виду.

— Ты всегда это имеешь в виду. Просто обычно говоришь мягче.

— Хорошо. — Кирилл положил ладони на стол. — Хорошо. Давай конкретно. Ты рассматривал инвестиции?

Брови Глеба приподнялись на миллиметр. Это было всё, что он позволил себе.

— Инвестиции.

— Да. Инвестиции. Ты же понимаешь, что деньги, которые лежат, — это деньги, которые уменьшаются. Это не философия, это арифметика. — Кирилл почувствовал под ногами твёрдую почву и обрадовался ей, как пловец берегу. — У тебя есть счёт? Накопления? Я же не прошу тебя отчитываться. Я предлагаю…

— Что ты предлагаешь?

— Я предлагаю тебе подумать о портфеле. Я могу помочь. У меня есть человек, который…

— Пап. — Глеб наконец посмотрел на него прямо. — Стоп.

Кирилл умолк. Не потому, что сын сказал «стоп» — потому что он увидел его взгляд.

Глеб смотрел на него с брезгливой жалостью.

Это была не ненависть, не гнев, не подростковый протест. Это была именно жалость — и брезгливость, как у хирурга, который смотрит на запущенную рану и уже знает, что спасать здесь нечего, но по протоколу обязан ещё немного повозиться.

— Ты хочешь поговорить со мной об инвестициях, — сказал Глеб. — Про будущее. Про портфель. — Он отпил воды. — Ты не спросил меня, почему я не сплю. Ты не спросил, что я слушаю, кроме подкаста. Ты не спросил, когда я последний раз разговаривал с кем-то, кроме мамы. Ты даже не спросил, зачем мне эти наушники.

— Я спросил.

— Ты спросил, чтобы потом сказать своё. Это не вопрос. Это пауза в твоём монологе.

Кирилл почувствовал, как что-то в груди сдвигается, как сдвигается лёд на реке — с сухим, предупреждающим треском.

— Я работаю, — сказал он. — Я работаю по четырнадцать часов, чтобы…

— Чтобы что?

— Чтобы у тебя было всё, чего не было у меня.

— У меня всё есть, пап. — Глеб обвёл рукой стол: рыба, салат, бокалы, свет. — Всё, чего не было у тебя. А меня нет.

Людмила тихо сказала:

— Мальчики…

Но было поздно. Или, может быть, как раз время.

Глеб повернулся к отцу всем корпусом, и в его лице появилось наконец настоящее — то самое, что он берег, как берегут последний аргумент.

— Можно? — спросил он.

— Что?

— Я скажу. Ты потом можешь кричать сколько хочешь. Просто выслушай один раз.

Кирилл не ответил. Кирилл смотрел на своего сына и ждал.

— Твой «успех», пап, — сказал Глеб негромко, — это просто очень дорогая форма депрессии.

Тишина.

Не та тишина, что бывает после шутки, которая не зашла, а та, что наступает после выстрела в соседней комнате: сначала не веришь, потом разбираешься, что именно услышал.

Кирилл открыл рот. Закрыл. Открыл снова.

— Что ты… — Голос сорвался на хрип. — Что ты сказал?

— Ты слышал.

— Повтори.

— Зачем? — Глеб смотрел на него без всякого торжества. — Тебе не понравится.

— Повтори!

Это был уже не голос переговорщика. Это был голос человека, с которого сорвали то, чем он был сорок восемь лет.

— Твой успех, — повторил Глеб, — это очень дорогая форма депрессии. Загородный дом без тебя. Машина без тебя. Отпуск, в который ты не смог полететь, потому что «как раз в этот момент нужно быть в контакте». Мама, которая уже двадцать лет разговаривает с тобой в третьем лице, потому что с тобой не получается в первом. Вот твой успех. Он у тебя сдан в эксплуатацию и подключён к электричеству. Но ты в нём не живёшь.

Кирилл взорвался.

Не сразу. Сначала что-то очень тихое, почти нежное: он аккуратно положил вилку. Рядом с тарелкой, параллельно

краю стола. Как складывают оружие перед дракой и как подают документы перед отказом.

Потом он встал.

Стул отъехал назад с сухим скрежетом.

— Значит, так, — сказал он. И странно — голос был тихим, ровным, вежливым. — Значит, значит. Значит, ты сидишь за моим столом, ешь мою еду, пьёшь мою воду, живёшь в моём доме и объясняешь мне, что я — депрессия. Дорогая. Форма депрессии.

— Я сказал не «ты депрессия».

— Не перебивай!

Слово ударило о стены. Глеб не вздрогнул. Людмила вздрогнула.

— Ты хоть понимаешь, — Кирилл шагнул в сторону, руки сжались в кулаки и разжались, — сколько мне было лет, когда я начал? Двадцать один. Двадцать один! У меня был один выходной в месяц. Один. Я работал и учился. Я стоял на рынке в минус двадцать и продавал — да, продавал — польские куртки, и мне было плевать, что там про меня ду-

мают, потому что я знал, зачем я это делаю. И я делал это не для себя.

Он показал пальцем на потолок, на стены, на всё сразу.

— Для вас! Всё это — для вас! Этот дом — для тебя! Эта школа была — для тебя! Эта жизнь вся, вся, каждый её кирпич — для тебя, потому что у меня не было ничего, у меня была мать, которая работала на двух работах, и общежитие, и я обещал себе, что у моего сына не будет общежития! И не будет выбора между колбасой и колбасой! И он не выходит у меня с работы в двенадцать ночи!

Глеб молчал.

— И ты, — голос Кирилла сорвался, и он это услышал, и оттого окончательно перестал себя держать, — ты сидишь и говоришь мне, что у меня депрессия?! У меня?! Это у меня?! А не у тебя, который ночами не спит и днём не встаёт?! Который в двадцать лет не знает, что такое заработать! Который слушает себе книжки сто летней давности и считает себя умнее всех, потому что — что? Потому что прочитал, что деньги — это плохо?! Я тебе скажу, что такое деньги! Деньги — это не плохо! Деньги — это когда ты можешь сказать «нет» людям, которые тебя унижают! Вот что такое деньги! А у тебя есть это «нет»?! Нет у тебя ничего! У тебя есть мой

телефон, моя машина и моя квартира, и сейчас ты сидишь и объясняешь мне, что я живу неправильно, — с моего стула, за моим столом, со своей сытой попой, которую я же и вырастил!

Он увидел, как Людмила закрыла рот ладонью.

Увидел этот жест — и не остановился.

— Значит, я для тебя пустое место? Я двадцать лет — пустое место, и всё, что я делал, — это дорогая форма? Значит, я зря? Зря всё? Да?! Скажи! Скажи мне прямо!

Глеб не сказал.

Он просто снял наушники.

До этого он всё ещё держал их в руке — пальцами за провод, как держат чётки. Теперь он положил их на стол. Аккуратно. Слева от тарелки. И посмотрел на отца.

Это не был взгляд обиженного. Не было в нём злости, слёз, мщения. Только тишина — и очень долгая, изучающая сосредоточенность.

Взгляд психиатра.

Так смотрят на пациента, который на приёме впервые за все сессии повысил голос — и не потому, что враг, а потому, что наконец показал, где болит.

Кирилл стоял, тяжело дыша, и под этим взглядом почувствовал, как из него что-то вытекает. Не злость. Силы.

— Ну? — выговорил он. — Что? Что ты молчишь?

Глеб выдержал паузу. Ровно столько, чтобы отец успел осознать всё сказанное им самим.

— Мне жаль тебя, — сказал он.

Просто. Без нажима. Без торжества.

И это было хуже пощёчины.

Пощёчина — это удар. Удар требует ответа: кровь на губе, шаг вперёд, «ах ты». Пощёчина — это разговор, пусть и дикий. Её можно вернуть. Удар предполагает равенство: тот, кого бьют, достоин того, чтобы его били.

А жалость не предполагает ничего. Жалость — это когда с тобой уже закончили.

Кирилл стоял, и всё, что в нём кипело, встало. Осело. Превратилось в тяжесть где-то под рёбрами, в ту самую, что годами перекрывали работой, встречами, самолётами, гантелями, бокалом красного в пятницу. Тяжесть никуда не делась. Она просто была.

— Я…

Он не знал, что сказать. Впервые за много лет он не знал следующего слова. В переговорах это называется «тупик», и там есть скрипт, и в скрипте сказано: «давай возьмём паузу».

Он не взял паузу.

— Ты… — он смотрел на сына, и голос был уже другим, старым, — ты правда думаешь, что мне тебя жалко?

— Я правда думаю, что ты давно не смеёшься, — сказал Глеб. — Я правда думаю, что ты не помнишь, о чём говорил с мамой в аэропорту в две тысячи семнадцатом. Я правда думаю, что когда ты в отпуске, ты каждые сорок минут проверяешь почту, и не потому, что важное, а потому, что не знаешь, что делать с тишиной. — Он помолчал. — Я думаю, что ты боишься. И я думаю, что ты сам это знаешь. Ты просто не открываешь этот файл, потому что его нельзя закрыть.

Кирилл медленно сел.

Не потому, что сдался. Потому что ноги.

— Глеб, — тихо сказала Людмила.

— Я не говорю, что ты плохой, пап. — Глеб впервые опустил глаза. — Я говорю, что ты не там.

Он взял наушники. Помедлил.

Не надел.

— Я не ем потому, что мне вкусно, — сказал он вдруг, совсем другим голосом, тихим и слишком взрослым. — Я ем, потому что в приложении галочка. Шесть утра — вода. Восемь — завтрак. Час дня — обед. Семь — ужин. Если галочки нет, оно мне вечером пишет: «Ты сегодня забыл о себе». — Он коротко усмехнулся. — Понимаешь? То есть кто-то там, в телефоне, помнит обо мне лучше, чем все, кто в этом доме. И мне, честно говоря, — он крутанул провод на палец, — это нормально. Это работает. Это лучше, чем ничего.

— Глеб…

— Я сегодня пришёл сюда, — перебил он, — не потому, что хотел есть. Я пришёл, потому что хотел посидеть с вами. Ты знаешь, сколько мне понадобилось на это решимости? Мне двадцать лет, и я неделю настраивался на семейный ужин.

Он надел наушники. Один. Второй остался висеть на шее, как маленький чёрный обрубок.

— Я тебя не ненавижу, — сказал он. — Правда. Я тебе даже благодарен. Ты показал мне, чего стоит бояться.

Людмила встала и вышла. Тихо. Она всегда выходила тихо — и это было единственное, чего Кирилл в тот вечер не смог ей простить. Или себе.

Они остались вдвоём. Отец и сын, разделённые столом и всем, что на этом столе стояло.

— Что теперь? — спросил Кирилл.

Глеб подумал.

— Теперь — доесть, — сказал он. — В приложении галочка. — И, помолчав: — Ты тоже поешь, пап. У тебя руки трясутся.

Кирилл посмотрел на свои руки.

Руки тряслись.

Он взял вилку. Посмотрел на рыбу под лимонным соусом, на салат, на симметричные тарелки.

— Я не знаю, как это делается, — сказал он.

Глеб жевал и молчал. Но не поднимался.

И в этом молчании — в том, что сын не ушёл, — было, кажется, всё, что у них оставалось.

Свет над столом горел ровным узким конусом. За окном был ноябрьский вечер, тёмный, какой-то особенно глухой. Где-то наверху заурчал холодильник. Людмила на кухне звякнула чашкой — вернулась, значит, вернулась, — и Кирилл впервые за вечер почувствовал не то что облегчение, а простую, голую, невероятно обидную мысль:

он действительно не помнил, о чём они говорили с женой в аэропорту в две тысячи семнадцатом.

Совсем не помнил.

И это было самое страшное из всего, что произошло за этот ужин.

Глава II. Ночь. Кухня

Дом затихал медленно, как затихает большой механизм: сначала гаснет свет наверху, потом смолкает вода в трубах, потом где-то в глубине, за стенами, последний раз щёлкает реле — и наступает то состояние, которое Кирилл всю жизнь называл «тишиной», не зная, что она называется иначе.

Он сидел в кабинете до половины первого. Экран, таблицы, письма, которые он не собирался отправлять, но открывал по кругу, как будто порядок строк мог восстановить порядок в нём самом. В какой-то момент он поймал себя на том, что в сотый раз перечитывает одну и ту же фразу из рассылки и не понимает её смысла. Слова были отдельно, смысл отдельно. Он закрыл ноутбук и пошёл на кухню.

По дороге, в коридоре, мимо двери Алины, он услышал тихое: стакан о дерево, короткий стук. Внучка пила воду. Потом — едва различимый, знакомый до тошноты звук пластмассового колпачка.

Снотворное. Каждую ночь. Девятнадцать лет, и уже — снотворное. Он не постучал. Он вообще никогда не стучал в эту дверь. Просто прошёл мимо, и мысль, которую он при этом подумал, была не «что с ней», а «лишь бы Людмила не

узнала». Он отметил это и возненавидел себя ровно на полторы секунды. Полторы секунды — это его личный рекорд по ненависти к себе.

На кухне горел свет.

Мила стояла у окна. Не сидела — стояла, привалившись плечом к раме, в широкой футболке и спортивных штанах, с вейпом в руке, и выпускала дым в приоткрытую форточку. Дым уходил узкой струёй в холод и растворялся.

— Ты не спишь, — сказал Кирилл.

— Как и ты.

— Я работал.

— Знаю. — Она не повернулась. — Я слышала, как ты перечитываешь одно и то же.

Он остановился в дверях.

— Слышала?

— У тебя скрипит колесо у кресла, когда ты нервничаешь. Не когда думаешь. Когда нервничаешь. Ты сегодня мно-

го нервничал.

Кирилл медленно прошёл к столу. Поставил на него пустой стакан — не спрашивая, — и почему-то это было единственным честным жестом за весь вечер.

— Ты знаешь, где…

— Верхний шкаф, слева, за крупами. — Мила наконец обернулась. — Ты прячешь её от мамы. Она знает. Она знает уже года три. Она просто не трогает — из уважения.

Кирилл открыл шкаф.

— Из уважения, — повторил он.

— Из уважения к твоему праву на маленькую тайну, — сказала Мила. — Это единственное, что у вас с ней осталось. Маленькая тайна про шкаф.

Он достал бутылку. Налил. Не до края — до середины, как наливают люди, которые давно знают, зачем они это делают.

Первую он выпил стоя.

Мила смотрела на него и не отводила взгляда. Вот это бы-

ло ново. Люди на него не смотрели. Люди на него смотрели и видели: сделка, срок, подпись, визитка, «Кирилл Андреевич, добрый день». А она смотрела на него так, как смотрят на человека, а не на функцию.

— Ты сегодня кричал на Глеба, — сказала она.

— Я знаю.

— Сильно.

— Я знаю.

— Я всё слышала. У меня комната над кухней, я слышала каждое слово. — Она затянулась. — Мне даже не стыдно, что слушала. Это было лучшее, что я слышала в этом доме за полтора года. Хоть кто-то наконец был настоящим.

Кирилл поставил стакан. Вторую он наливать не стал, но и убрать бутылку не стал тоже.

— Ты пришла меня утешать?

— Нет.

— Тогда зачем?

— Я вышла покурить. — Она подняла вейп. — Ты вышел попить. Совпало.

Он усмехнулся — коротко, криво, первый раз за долгое время.

— Ты очень… — он поискал слово, — спокойная.

— Это не спокойствие. Это сон. У меня было три часа за двое суток. — Она посмотрела на него. — Но я могу поговорить. Мне сейчас всё равно, что говорить. В этом смысле — идеальное время для правды.

Кирилл опёрся на стол.

— Ты девчонка. Тебе двадцать три.

— Двадцать три, — согласилась Мила. — И я работаю с людьми, у которых нет денег. У них нет денег на адвоката, на врача, на нормальную квартиру. И за полтора года я научилась одному: люди, у которых нет денег, врут гораздо меньше. Им нечем платить за враньё. — Она затянулась. — А ты, Кирилл Андреевич, — человек, который платит очень дорого.

— За что?

— За то, чтобы никто не задавал тебе вопросов. — Она пожала плечами. — Очень дорогая форма депрессии. Глеб сегодня был точен.

Стакан стукнул о стол громче, чем нужно.

— Не надо.

— Что не надо?

— Не надо мне это повторять. Он мне это уже сказал.

— Он сказал одну фразу, — спокойно ответила Мила. — Одну фразу, после которой ты сломался, потому что она была правдой. А я тебе сейчас скажу не одну.

Он смотрел на неё.

— Ты уверена, что хочешь?

— Я уверена, что мне нужно чем-то себя занять, пока я не засну, — сказала она. — А ты — единственное, что здесь не спит.

Кирилл медленно сел. Не потому, что хотел сесть. Потому что стоять стало тяжело.

— Ну давай, — сказал он, и это прозвучало почти шутливо. — Разбирай меня. Психоанализ на кухне. Только учти: я сорок пять лет платил за то, чтобы этого никто не делал.

— Знаю. — Мила села напротив, на табурет, и он снова отметил этот взгляд — не вызов, не сочувствие, а внимание. — Тогда с первого. Ты любишь свою жену?

Кирилл засмеялся. Коротко и невесело.

— Вот так сразу? Без предисловия?

— Предисловие — это когда за слово берут деньги.

— Мы двадцать четыре года вместе.

— Я не спросила, сколько вы вместе. — Мила держала вейп между пальцами, не поднося к губам. — Я спросила, любишь ли ты её.

Он смотрел на стол. На клеёнку, на которую, дождавшись, капнула вода с его стакана.

— Есть обязанности, — сказал он. — Есть уважение. Есть привычка. Есть общая история. Это всё не ноль. Это вообще-то много.

— Много. — Она кивнула. — Но я спросила не про много.

— Любовь — это не романтический фильм, Мила. Любовь — это когда ты в три часа ночи везешь человека в больницу и не ведёшь счёт. Я вожу. Я никогда не вёл счёт. — Он поднял взгляд. — Разве это не любовь?

— Это верность, — сказала она. — Это хорошая вещь. Но это не то, о чём я.

— А что «то»?

Мила задумалась на секунду — по-настоящему задумалась, не для паузы.

— Когда ты последний раз говорил с мамой не про дом, не про детей и не про деньги? — спросила она. — Не «надо вызвать мастера», не «Алина опять не сдала», не «мне в четверг на встречу». Просто говорил. Как человек.

Кирилл открыл рот. И ничего не сказал.

Он искал. Он честно искал — и не находил. В памяти было много всего: списки, рейсы, счета, дни рождения, споры про ремонт, споры про родителей, споры про что-то ещё, что казалось важным и не оказалось совсем ничем.

— Мы разговариваем, — сказал он наконец.

— О чём?

— О жизни.

— О жизни. — Мила выпустила дым. — То есть о том, что делать с домом, с деньгами и с детьми. То есть — о работе.

— Это нечестно.

— Это точнее, чем твоё «о жизни».

Он налил вторую.

— Ты знаешь, сколько я зарабатываю? — спросил он, и это было не хвастовство, а то отчаянное, чем люди прикрываются, когда у них уже забрали оружие.

— Знаю, что много. И знаю, что тебе от этого не легче. Иначе ты бы не сидел сейчас с литровой бутылкой в час но-

чи на кухне и не объяснял двадцатитрёхлетней девочке, что такое любовь.

Стакан замер на полпути.

— Ты прямо.

— Я устала. — Она улыбнулась, и улыбка была не злой. — Усталые люди не умеют врать. Это единственное преимущество бедных и невыспавшихся.

Кирилл выпил.

— Хорошо, — сказал он, ставя стакан. — Допустим. Допустим, что я… что мы с Людмилой — это не страсть. Это нормально. Это у всех так через двадцать лет. Ты знаешь, что у всех так?

— Я знаю, что все так говорят, — сказала Мила. — Это разные вещи.

Он не нашёлся.

— Второй вопрос, — сказала она. — Ты знаешь своих детей?

— Конечно знаю.

— Что Глеб читает?

— Он слушает эти… — Кирилл мотнул рукой. — Подкасты. Про Энгельса.

— Что он читает?

Пауза.

— Я не знаю.

— Кто его друг?

Кирилл открыл рот.

— У него есть друг. — Он сказал это и сам услышал, как это прозвучало: как сочинение на тему. — Был. В школе был.

— А сейчас?

— Я… — Он посмотрел на стакан. — Я не знаю.

— У Алины, — сказала Мила ровно, — в телефоне тридцать восемь приложений. Три из них — для сна. Она удалила

всё, что связано с едой, ещё в марте, потом поставила обратно, в мае. Она перестала ходить в бассейн, потому что там раздевалка. Она не ездит в лифте с зеркалами, если в нём кто-то есть, — выходит и ждёт следующий. Она принимает снотворное каждую ночь и прячет его в коробке из-под косметики. — Она помолчала. — Ты знал это?

Кирилл смотрел на неё.

— Она мне говорила, что…

— Она тебе говорила то, что ты мог услышать. — Мила смотрела на него без всякой жалости. — Ты вообще слышишь только то, на что у тебя есть сорок минут в календаре.

Тишина.

— Я не знал, — сказал он.

— Знаю, что не знал. — Она наконец затянулась. — Я не говорю, что ты не любишь детей. Ты их любишь. У тебя просто на них никогда не было времени, кроме того, которое оставалось после всего остального, а после всего остального времени не остаётся никогда. Это не злодейство. Это хуже. Это арифметика.

Кирилл положил локоть на стол и опустил голову.

— Ты жестокая, — сказал он в клеёнку.

— Я честная. Жестоко то, что ты узнаёшь это от меня, а не от них. И то, что они давно перестали ждать, что ты спросишь.

Он поднял голову.

— А теперь третий вопрос? — спросил он, и в голосе появилась злость — Про работу? Ты же хочешь спросить про работу?

— Я не хочу спрашивать. Я знаю ответ.

— Да? И какой?

— Ты ненавидишь свою работу.

Он рассмеялся — громко, натужно, слишком громко для ночного дома.

— Я ненавижу работу, — повторил он. — Я двадцать лет в ней. Я в ней вырос. Я создал то, чего не было. Я этим живу.

— Ты этим прикрываешься.

— Я этим зарабатываю!

— И это две разные вещи, — сказала Мила. — Ты путаешь. Ты срастаешься с работой, потому что если её убрать, от тебя ничего не останется. Ты не любишь свою работу, папа. Ты боишься того, что будет, когда она закончится. Это не любовь. Это заложничество.

Он посмотрел на неё так, как смотрят на человека, который перешёл черту.

— Ты вообще понимаешь, о чём ты говоришь?

— Нет. — Она погасила вейп о край пепельницы из фольги, которую ей, видимо, сделала Алина. — Объясни.

Кирилл встал.

Он подошёл к окну, к той самой форточке, и встал рядом, и какое-то время молчал. За стеклом был чёрный двор, фонарь, мокрый асфальт. Он смотрел наружу, но видел не двор.

— Я в двадцать один год стоял на рынке, — сказал он. — Зима. Минус двадцать два. Я держал эти куртки, пакеты, и

у меня пальцы не разгибались. И рядом стоял мужик, ему было под пятьдесят, и он так же стоял, и он уже не мог разогнуться. Совсем. Он так ходил. — Кирилл показал — как. — И я тогда себе сказал: всё. Я сказал: я не буду этим мужиком. Я не буду стоять на морозе в пятьдесят. Я буду тем, кто продаёт ему место. И я стал. Я стал. — Он обернулся. — Ты понимаешь? Я выполнил обещание. Обещание самому себе. Это не страх. Это долг.

— А сейчас, — тихо сказала Мила, — ты кто?

— В смысле?

— Ты выполнил обещание. Ты не тот мужик на морозе. Ты теперь тот, кто сидит в стеклянном кабинете. — Она смотрела на него. — А что ты делаешь в этом кабинете? Ты хоть раз за последние пять лет сделал что-то, от чего тебе было хорошо? Не «полезно». Не «успешно». Хорошо.

Кирилл открыл рот.

Он собирался сказать про контракт. Про завод в Литве. Про то, как он вывез их из ямы в четырнадцатом. Про то, как в двадцать первом они едва не рухнули и он не спал четыре месяца и вытащил. Он собирался сказать всё это, и это была правда, и это была гордость, и это было настоящее.

И он вдруг понял, что всё это — войны. А война, даже выигранная, — это не «хорошо».

— Я не знаю, — сказал он.

— Вот, — сказала Мила. — Это самый честный твой ответ за сегодня.

Он вернулся к столу. Сел. Налил третью и не выпил — просто держал стакан.

— И что теперь? — спросил он, глядя в него. — Ты мне сейчас объяснишь, что я прожигаю жизнь?

— Ты сам только что это сказал.

— Я этого не говорил.

— Ты сказал, что не знаешь, когда тебе было хорошо. — Она помолчала. — Пять лет. Это не маленький срок, Кирилл Андреевич. За пять лет можно прочитать сотню книг, выучить язык, увидеть тридцать стран, научиться играть на чём-нибудь. А ты за пять лет научился только одному: не замечать, что тебе плохо. Это тоже навык. Не самый плохой, кстати. Он тебя держит на ногах.

Стакан дрогнул.

— Зачем ты это делаешь? — спросил он, и голос был уже другой.

— Что?

— Это. Всё это. Ты же не обязана. Ты могла выкурить свою штуку и уйти. Ты… — он поискал слово и нашел самое простое: — Ты зачем?

Мила долго смотрела на него. Потом сказала — и это было первое, что она сказала не как хирург, а как человек:

— Потому что на меня сегодня тоже накричали. Не так, как на Глеба. По-другому. — Она смотрела в стол. — И я знаю, каково это, когда никто не спрашивает. И знаю, как это — когда на тебя смотрят и уже всё про тебя решили. — Она подняла глаза. — Я не хочу, чтобы ты ушёл в эту ночь с той же мыслью, с которой в неё вошёл. Вот и всё. Извини, что грубо.

Кирилл смотрел на неё.

И вдруг — не сразу, а как вода продавливает плотину: сна-

чала тонкой струйкой, потом разом — он понял, что его слушают.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.